

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

(Автобиография)

Много лет назад в одной из антологий русской поэзии первого десятилетия XX века я прочитал письмо известного поэта Федора Сологуба, помещенное там вместо его автобиографии. Смысл этого коротенького письма, насколько я помню, сводился к тому, что автор не считал возможным сообщать что-нибудь о себе, так как читателю вряд ли интересует его жизнь.

Я уже знал, что Сологуб — это литературный псевдоним писателя, что настоящая его фамилия Тетерников, что он сын кухарки, сам долго работал учителем математики в провинции, был инспектором народных училищ, а литератором-профессионалом стал, только выйдя на пенсию. И мне было обидно думать, что известный писатель стыдился своего плебейского происхождения, своей трудовой биографии.

У каждого человека, перешагнувшего за определенный возрастной рубеж, возникает внутренняя потребность оглянуться на пройденный путь, осмыслить пережитое, отдать себе отчет в том, почему он выбирал в жизни те, а не иные дороги.

Поэты в таком возрасте обычно обращаются к лирике воспоминаний. Прозаики берутся за мемуары.

Чтобы не повторять самого себя, я хотел бы рассказать только о том, что во мне пробудило любовь к поэзии, к родному слову, чем навеяны те или иные мотивы моих стихов, сюжеты прозаических книг.

Родился я в 1909 году, 2(15) февраля, в день, когда по народному календарю зима встречается с весной.

Деревня Алексеевка, где крестьянствовали мои родители и где я рос, была одним из самых глухих углов лесного Рославльского уезда Смоленской губернии. В годы моего детства в ней не насчитывалось и полсотни дворов. Почти у самой ее околицы начинались дремучие леса. Весной, выбежав поутру на крылечко, мы слышали токование тетеревов, а в глухие зимние сумерки — вой голодных волков. Летом на наши яровые поля выходили полакомиться овсом

медведи. А всякого мелкого зверья за речкой Корчевкой, отделявшей наши поля от казенных лесных угодий, водилось великое множество. Однако охотой у нас почти никто не промышлял, а те, кто ходил с ружьем, считались мужиками неосновательными. Потом я убеждался не раз, что люди, связанные с землей, живущие лицом к лицу с природой, и относятся к ней по-родственному, с какой-то удивительной целомудренной простотой. Они никогда не восхищаются вслух ее красотами, но зато и не позволяют относиться к ней грубо или легкомысленно.

В народе считается, что замутить родник — все равно что плюнуть в глаза матери. Это я усвоил в детстве, усвоил накрепко, на всю жизнь. О детстве, о мудрой народной философии жизни я рассказал в повести «Сказка моего детства», и добавить к ней мне нечего. К сожалению, «сказка» для меня очень рано кончилась: в 1916 году умер отец, в 1918-м — мать.

Отец мой, деревенский грамотей и книголюб, мечтал увидеть меня сельским учителем. Мать была неграмотна, но свято чтילה волю мужа. Как мне потом рассказывали, умирая, она взяла слово со своего деверя, а моего дяди, младшего брата отца, что он не бросит меня и даст возможность учиться. Дядя сдержал слово. Окончив начальную школу, я поступил в тюнинскую трудовую школу второй ступени. Об этой школе я до сих пор вспоминаю с большой душевной благодарностью.

Расположенная в красивейшей местности, в центре старинной барской усадьбы с ее вековыми аллеями, парками, березовыми рощами, она стала притягательным центром для сельской интеллигенции целого уезда. В нее охотно шли лучшие учителя.

Время, когда я поступил в нее, было шумное, переходное. Новая трудовая школа только-только складывалась, искала пути, и учащиеся спорили на собраниях с учителями о методах преподавания, о программах занятий. И все же своим питомцам школа дала очень много. Дала, прежде всего, потому, что ей был чужд какой бы то ни было догматизм, что она приучала нас к самостоятельному мышлению. Особенно хорошо было поставлено преподавание гуманитарных предметов. Преподаватель всеобщей истории, называвшейся тогда историей культуры, М. Г. Кутузов любил повторять: «Не зная прошлого своего народа, нельзя понять его настоящее и заглянуть в будущее. Но мало знать только историю своего народа, нужно ясно представлять себе его место в истории всего человечества».

У нас был ученический клуб, издавался свой рукописный журнал. Я принимал самое горячее участие во всей школьной самодеятельности, а в журнале регулярно помещал свои стихи и рассказы, подписывая их псевдонимом В. Полянин.

Когда у меня сложились первые рифмованные строчки — не помню, но увлекался я стихами еще до того, как научился грамоте, заставляя отца без конца повторять то «Песню пахаря» Кольцова, то «Песню бобыля» Никитина. Именно эти поэты были моими первыми наставниками. В Тюнине пришли другие увлечения. В старших классах я зачитывался Бунным и Блоком, заучивал наизусть каждое новое стихотворение Есенина. Критикуя опыты своих друзей, я говорил, что настоящие стихи должны быть весомы, как у Брюсова, звучны, как у Бальмонта, ароматны, как у Буннина, искренни и душевны, как у Блока и Есенина. Про себя я был убежден, что добьюсь такого сочетания.

Из прозаических опытов тех лет у меня ничего не сохранилось, но я помню, что один из рассказов, который друзья считали наиболее удачным, назывался «Малиновые зори». Написан он был ритмизованной, перезванивающей прозой, и от него, как уверяли наиболее восторженные из школьных критиков, пахло лесными ягодами и медом. Я бесконечно гордился этим...

Действительно, лес я очень любил и пропадал там все летнее каникулярное время — водил в ночное коней, косил и сгребал в лугах сено, а в праздники помогал старикам пасечникам.

В нашей деревне многие водили пчел. Ранней весной пчеловоды, сговорившись между собой, вывозили ульи в лес и устраивали там общие пасеки, которые караулили по очереди старики. Поездки на такую пасеку, огороженную от зверья высоким частоколом, были для меня всегда большим праздником.

Там все выглядело необычно: построенный из жердей и корья шалаш, похожий на сказочный лубяной домик; стоящие на крестовинах пчелиные колоды, напоминавшие присевших на задние лапы добродушных зверей; звенящая тишина, пахнущие медом цветы.

Даже хорошо знакомые мне старики соседи на пасеке казались совсем другими, чем дома, словно там они отрешались от всей житейской суеты и приобщались к сокровенным тайнам природы.

Для меня не было большего удовольствия, как сидеть с ними в шалаше и слушать бесконечные рассказы о всяческих лесных диковинах, где сказка была такой же осязаемой, как быль, а быль такой же удивительной, как сказка.

В школу возвращался с невыполненным заданием по алгебре, но с целой тетрадкой стихов. В этих стихах, пусть тогда еще совершенно бессознательно, я неизменно стремился выразить «половодье чувств» своих сверстников, впервые получивших возможность думать не только о куске хлеба, но и о красоте мира и родной земли.

Стихи нравились не только моим школьным товарищам, но и учителям, которые прощали мне за них некоторые огрехи в учебе. Наиболее трогательно относился ко мне старейший и добрейший из наших учителей — преподаватель математики Григорий Назарович Азаров, в свое время встречавшийся со многими писателями, в том числе с Горьким, Л. Андреевым, Вересаевым. Если я начинал отставать по геометрии или по алгебре, он приглашал меня к себе на квартиру, все подробно и терпеливо объяснял. «Я знаю, — говорил он, — что вы не будете заниматься математикой, но не могу же я поставить вам плохую отметку. Вам будет стыдно, а мне еще больше».

Вообще учителя у нас, за очень редкими исключениями, были хорошие и держались с нами, как старшие товарищи. Из сверстников своих я ближе всего сошелся с одноклассником Виталием Жалынским, восторженным и застенчивым, как девочка, подростком. Он тоже писал стихи и, как я был искренне убежден тогда и считаю до сих пор, гораздо лучше меня. Хотя вкусы у нас были разные — он больше любил Андрея Белого, я Блока, — мы могли по целым вечерам говорить о стихах, поперебой читая друг другу запомнившиеся строфы.

Зимой 1925 года к нам приехал из Москвы наш земляк, молодой поэт, тогда студент Института имени В. Я. Брюсова, Владимир Заводчиков. Прочитав издававшийся нами журнал, он выделил и расхвалил мои стихи. Это еще больше окрылило меня. Я переписал лучшие стихи в особую тетрадку, а мой приятель Женя Меркушев нарисовал виньетку и заглавие «Васильковый венок». Было решено, что мне уже пора выступать в печати, а для этого следует перебраться в какой-нибудь большой город, хотя бы Смоленск. А тут как раз подвернулся и повод. Наша школа была реорганизована в семилетнюю школу крестьянской молодежи, и мне так или иначе нужно было для завершения среднего образования куда-то переводиться. Я переехал в одну из вечерних школ Смоленска.

Дядя дал мне десять рублей, ковригу хлеба, кусок сала и сказал, что больше помочь мне ничем не сможет. Меня это несколько не смутило. Гораздо больше, чем на помощь дяди, я рассчитывал на помощь своих старших товарищей, покровительствовавших мне, — студентов Смоленского университета. Они обещали на первое время приютить меня у себя и брать с собой на сдельные работы, которые иногда получали на железной дороге.

Я, приученный к труду с раннего детства, никакой работы не боялся и с легкой душой отправился в Смоленск.

Полученные от дяди десять рублей быстро исчезли, стихи мои в редакциях хвалили, но не печатали, и мне, чтобы заработать хоть на хлеб, приходилось почти ежедневно ходить на станцию разгру-

жать вагоны. Учиться в таких условиях было невероятно трудно, но я тянулся из последних сил и даже находил время аккуратно посещать университетский литературный кружок, в который я был принят несмотря на то, что не был студентом. Долго так продолжаться, конечно, не могло. Силы мои истощались, и после зимних каникул я перевелся в школу поближе к дому, в свой уездный город Рославль. К этому времени в газете «Смоленская деревня» появилось одно из моих стихотворений. Оно у меня называлось «Толока». В редакции ему дали другое название — «Взаимопомощь».

По странной случайности напечатано оно было в канун дня моего рождения — 14 февраля 1926 года, когда мне исполнилось семнадцать лет. Это показалось мне доброй приметой. На полученный гонорар, чтобы пофорсить перед товарищами, я купил коробку папирос «Шедевр» и решил разослать стихи во все газеты. Но следующее мое стихотворение появилось только в конце лета в газете «Юный товарищ».

Школьные годы остались позади. Нужно было подумать, что делать дальше. Тогдашняя девятилетка никакой специальности не давала, а наивные мечты заработать на хлеб стихами разлетелись в прах.

Я временно устроился волостным статистиком в Тюнине, а осенью вслед за Виталием Жалынским уехал на Брянщину, где получил назначение в школу ликбеза в селе Пупкове, Дятьковской волости, а фактически работал там вторым учителем начальной школы.

В ту зиму я начал регулярно печататься в губернских газетах «Путь молодежи», «Наша деревня» и «Брянский рабочий», где меня встретили очень ласково. Редакция «Пути молодежи» отвела моим стихам целую страницу, поместила мой портрет и даже дала коротенькую биографическую заметку. «Брянский рабочий» напечатал о моих стихах весьма благожелательную статью М. О. Полонского.

На одно из моих стихотворений, напечатанных в «Пути молодежи», Виталий Жалынский ответил стихами, которые были опубликованы с посвящением мне. Из-за этой поэтической переписки я и в незнакомом селе не чувствовал себя одиноким.

Весной 1927 года я вернулся в родную деревню. Там одновременно с работой в сельсовете преподавал в вечерней школе крестьянской молодежи литературу, руководил драматическим кружком, выпускал стенную газету. Стихи писать становилось все труднее. Написанное не удовлетворяло. Большой поддержкой для меня были письма М. Исаковского, в то время уже известного поэта. Он, подхватывая каждую удачную строчку в моих стихах, беспощадно высмеивал мое пристрастие к цветистости, к словесным вычурам.

В 1927 году на конкурсе газеты «Юный товарищ» мне была присуждена первая премия за поэму «Ржаная кровь», впоследствии несколько переделанную и названную «Лето».

Я все больше понимал, что для успешной работы в поэзии мне не хватает культуры, среды. Виталий Жалынский переехал в Самару, устроился там на работу в редакцию молодежной газеты и настойчиво звал меня к себе. Но меня снова потянуло учиться.

В 1930 году я поступил на литературное отделение Смоленского педагогического института. Виталий тоже собирался вернуться в родные края, но вскоре заболел тифом и умер, так и не развернув своего дарования.

В то лето у меня гостили поэт Александр Твардовский и критик Адриан Македонов. Я по целым дням пропадал в плотничьих и полеводческих бригадах, а вечером уводил друзей за околицу, и мы допоздна бродили по окрестным полям и лугам.

Твардовский читал новые главы поэмы «Путь к социализму», над которой он тогда работал. Эта поэма была его первым подступом к теме коллективизации. Деревню он знал превосходно, чувствовал ее, как говорится, кожей. Стремясь уйти от внешней поэтичности, он нарочито прозаизировал стих, густо насыщая его бытовыми деталями. Я в ту пору упорно отстаивал мелодический стих, и мы много спорили — по-юношески горячо, задористо, но без обид.

В институте мне пришлось многое наверстывать. Там я впервые более или менее подробно познакомился с новой западной поэзией, конечно, в русских переводах.

Особенно поразил меня Рембо. Его «Париж заселяется вновь...» стало одним из самых любимых моих стихотворений, так же как «Аннабель Ли» Эдгара По, как «Карусель» Рильке. Но увлечение этими поэтами не охладило моей любви к русской классической поэзии. Я снова и снова перечитывал Баратынского, Тютчева, Фета. Я заново открыл для себя Некрасова с его удивительно органическим сочетанием личной и гражданской лирики, с его нравственным максимализмом.

В конце 1930 года на каком-то совещании крестьянских писателей в Москве меня познакомили с А. П. Чапыгиным, книги которого я знал и любил уже давно. Седоусый, бритоголовый, он всем своим обликом напоминал старого мастерового из крестьян, каких я немало видел в детстве. Когда меня подвели к нему, я невольно вспомнил есенинские строки:

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол...

И я прежде всего увидел в нем совсем не знаменитого писателя, автора шитого шелками «Разина», а именно сродника, сразу и навсегда располагающего к себе. Алексей Павлович тут же заставил меня читать стихи. Выслушал, похвалил:

— Хорошо, молодец, парень. Только смотри не сбейся на проторенные дороги... И не женись.

— Почему же не жениться? — удивился я.

— Потому что поэт рвется в небо, за облака, а жена его схватит за ноги да на землю, на землю, — с хитровой усмешкой пояснил Алексей Павлович.

Прощаясь, он обнял меня за плечи и зашептал на ухо:

— С женитьбой я, конечно, пошутил. У тебя небось уже и невеста пригложена. Ну и правильно. Отшельником всю жизнь не проживешь. А крылья, парень, береги. Без крыльев нашему брату не жизнь.

Больше мне встретиться с ним не довелось, но эта единственная встреча запомнилась навсегда. Сколько раз я потом напоминал себе его слова:

— А крылья, парень, береги...

В студенческие годы, осмысливая накопившийся у меня опыт, я написал книгу сюжетных стихов о своих земляках — «Мои герои». Вышла она в Запгизе в 1933 году, когда я уже закончил институт. Книга была замечена не только в областной, но и в центральной прессе. Сам же я чувствовал, что сюжетные стихи не моя область, и вернулся к пейзажной и медитативной лирике.

Вторая моя книга — «Встречи» — была принята критикой более сдержанно. В ней, отказавшись от цветистости юношеских стихов, я еще не нашел пути к высокой простоте подлинной поэзии, хотя там уже были и такие стихи, которые намечали верное направление дальнейших поисков («Яблоки», «Посмотри, у меня большая ладонь...», «Рябиновая ночь» и т. д.). В меру своих сил я стремился раскрыть духовное богатство человека труда, его нравственную красоту.

Большой школой было для меня участие в работе Первого съезда писателей. Там я почувствовал всю меру ответственности писателя за свою работу.

Я не спешил переходить на положение профессионального литератора, заведовал сельскохозяйственными передачами областного радиовещания, работал редактором в книжном издательстве, вел отдел критики и библиографии в смоленской газете «Рабочий путь».

В 1938 году Гослитиздат выпустил под редакцией В. Казина книгу моих избранных стихов «Дыхание». Критика обошла ее молчанием.

О лирике, да еще о лирике пейзажной, в то время не принято было говорить всерьез. Ее только терпели, как трудноискоренимый предрассудок, как живучий пережиток патриархальщины. А для меня отказ от пейзажной лирики был бы равносильен измене самому себе, нарушению своего нравственного долга перед теми, кто еще в детстве внушил мне любовь к неброской, задумчивой красоте родной природы.

В конце 30-х годов, не оставляя работы над лирикой, я обратился к героическому прошлому Смоленска, под стенами которого не раз решались судьбы России. Увлечение историей, изучение старинных хроник и летописей, легенд и сказаний, связанных с хорошо знакомыми мне местами, открывало мне самые глубинные источники славянской речи, обостряло чувство слова, помогало преодолеть известную робость перед канонами условно-поэтического языка. Все это не только освежало язык моей лирики, но и расширяло ее горизонты, делало для меня ощутимой связью времен. Другьям, которые подсмеивались над моим увлечением стариной, я отвечал цитатой из «Сказания о Меркурии Смоленском»: «Аще бо прежде забвению и нерадению предложено было, или паки письмен не-держимо было, но некими изгублено бяше в забытии ума, ныне, господие и братие, да воспомянем».¹

Я понял, что в поэзии, в том числе и в лирике, не может быть глубокого чувства современности без чувства истории. Поняв это, я как бы в новом свете увидел многое в творчестве своих любимых поэтов, и прежде всего у Блока с его гениальным циклом «На поле Куликовом», циклом, который озарял для меня весь его предыдущий и последующий путь.

Предвоенные годы были временем не только напряженных поисков и раздумий, но и напряженной творческой работы. Кроме нескольких лирических циклов, я написал ряд исторических баллад и две небольшие поэмы о народно-патриотических движениях в Смоленске. Все это вошло в мой сборник «Березовый перелесок», который я до сих пор считаю лучшей из моих довоенных книг, хотя при появлении он был жестоко разруган (единственная доброжелательная рецензия Д. Данина появилась в «Новом мире»): ведь я писал о таких «неактуальных» проблемах, как любовь, дружба, верность, родная природа, история.

В первые же дни войны, когда Смоленск на моих глазах был превращен в руины, я ушел добровольцем на фронт, захватив с собой автологию современной мировой поэзии, изданную в Киеве в 1912 го-

¹ То, что другими было забыто и брошено, не записано и не сохранено в памяти, мы ныне, господа и братья, вспомним. — *Ред.*

ду, книжку избранной лирики Гейне и третий том прижизненного издания Блока со стихами о России. Эти книги были со мной неразлучно. Я пронес их в полевой сумке по всем фронтовым дорогам. Только они и остались у меня от довоенной библиотеки, которую я начал собирать, еще будучи студентом, тратя на нее последние гроши из скудной стипендии. Теперь эти книги я храню, как самые дорогие реликвии.

На фронте я командовал взводом в саперном батальоне, минировал и разминировал поля, копал противотанковые рвы, строил укрепления, а по ночам в землянке, в промежутках между бомбежками, писал стихи, не думая о возможности их напечатать. Именно в этих стихах, вошедших потом в сборники «Синее вино» и «Прощание с юностью», зазвучал, мне кажется, голос потрясенного сознания, возмущенной совести людей моего поколения.

В эти дни я особенно остро ощутил, что главное в поэзии — полное и органическое слияние личных и общественных мотивов, современности и истории.

Я ничего не знал о судьбе моей семьи и целый цикл стихов называл «Письма без адреса». По этим письмам, после их опубликования, меня разыскал брат, офицер-танкист.

Каждое новое стихотворение читалось солдатам. Я добился разрешения жить не в офицерском блиндаже, а со своим взводом.

В феврале 1942 года из штаба фронта пришел приказ об отчислении меня из батальона и прикомандировании к редакции военного журнала, выходившего тогда в Москве. Когда наступили минуты прощания, я выстроил взвод, хотел сказать подобающую случаю речь, но к горлу подступил ком. Я махнул рукой и без слов обнялся и расцеловался с каждым солдатом.

Богатырского вида плотник Ласточкин сгреб меня в охапку, лгенько приподнял и со свирепым выражением лица произнес: «Желаем вам, товарищ старший лейтенант, поскорее найти семью, а всё остальное мы вернем, будьте уверены...»

В Москве при встречах со мной на улице знакомые шарахались в сторону, как от привидения. Оказалось, что нашлись очевидцы, которые уверяли, будто своими глазами видели меня убитым у печально знаменитой Соловьевой переправы на Днепре.

Весной мне посчастливилось разыскать семью. Она застряла между Гжатском и Можайском, где в это время проходила линия фронта. С большим трудом я вывез оттуда жену и детей, державшихся только одной надеждой — дождаться, увидеть меня.

Так родилась моя поэма «Апрель» — поэма разлуки и встречи на опаленной земле. Эта поэма привела меня в штаб партизанского

движения Западного фронта, где я писал стихи — письма землякам, — которые печатались листовками и забрасывались в тыл врага.

Осенью 1943 года я с первым эшелом приехал в только что освобожденный Смоленск. Меня демобилизовали и назначили главным редактором областного книжного издательства.

До конца дней не забыть мне первой встречи с любимым городом, в котором я не мог узнать знакомых с юности мест. Но я видел не только заросшие бурьяном пустыри с торчашими над ними трубами сгоревших домов, я видел людей, ютившихся в землянках и в амбразурах древней крепостной стены, работавших под бомбежками день и ночь, готовых поделиться с возвращавшимися на родные пепелища земляками последним куском хлеба.

Об этом я рассказал, как мог, в поэме «Возвращение» и в повести «У разоренного гнезда».

В издательстве я редактировал брошюры о том, как класть из кирпича-сырца печки, как обучать ходить в упряжке коров и как работать на них, чтобы не уменьшались удои молока.

А стихи писал о великой любви к жизни, о неспясаемой жажде счастья у людей, как бы заново творящих мир из пепла.

Весной среди развалин буйно зацвели уцелевшие яблони. Мне казалось, что никогда так не дурманила черемуха, не пахла так сладостно сирень, как в ту весну. Еще шла война, но шла уже явно к концу. Одетые в ватники и кирзовые сапоги девушки хорошились не по дням, а по часам. Молодежь заждавшиеся мужей солдатки. Когда мне и моим друзьям приходилось выступать перед женскими восстановительными бригадами, слушательницы просили:

— Читайте о любви!

И мы читали о любви.

Возвращаясь с таких вечеров, я думал, что любовь к жизни и есть душа искусства. Без нее поэзия — только медь звенящая, кимвал бряцающий.

В послевоенные годы я вернулся к своим прежним, мирным лирическим темам, но вернулся уже с другим подходом — обогащенный ✓ суровым опытом.

В них отдается каждый вздох
И каждый звук звучит иначе.
В них версты пройденных дорог,
Утраты наши и удачи.

Это вовсе не значит, что я отказываюсь от своих довоенных стихов. Нет, после всего пережитого многое в них мне стало еще

дороже. Но юность повторить нельзя, как нельзя сбросить с плеч груз годов.

С годами я все больше убеждался, что весь жизненный опыт невозможно вместить в стихи. Я имею в виду не только лирику, но и все другие поэтические жанры. Это особенно ясно мне стало после войны. Меня потянуло к прозе.

Со времени первых опытов школьных лет я написал только несколько рассказов и очерков: мне не хотелось разбрасываться. Теперь же я почувствовал настоятельную потребность рассказать о виденном и слышанном, пережитом и передуманном в суровой прозе. Так зародились мои первые повести «У разоренного гнезда», «Волшебная книга» и «Великая Росстань», написанные в первые послевоенные годы. С тех пор я постоянно перемежаю в своей работе стихи с прозой. Мне кажется, что работа над прозой благотворно сказывается и на стихах, изгоняя из них риторику и сентиментальность, а опыт стихотворца обязывает быть экономным, не терять чувства ритма и в прозе.

Образцом прозы для меня всегда была проза Бунина, хотя я с юности любил самых разных писателей — Аксакова и Чехова, Глеба Успенского и Эртеля. К Лескову у меня еще в юности сложилось двойственное отношение. Он то притягивал меня доскональным знанием глубинной России, то отталкивал своим словесным скоморошеством. О Льве Толстом и Горьком я не говорю. Они для меня больше чем великие художники.

Точности и выразительности слова я учился не только на образцах художественной прозы, а и на произведениях научно-популярной литературы и публицистики, таких, как знаменитые книги Д. Кайгородова «Из царства пернатых» и «Беседы о русском лесе», как совершенно великолепные по языку и подлинности материала письма А. Энгельгардта «Из деревни». Этих авторов я могу перелистывать ежедневно и читать, открыв наугад, страницу за страницей.

В 1962 году я решил наконец приступить к осуществлению своего давнишнего замысла — к переводу «Слова о полку Игореве».

Замысел этот зародился у меня еще в студенческие годы под влиянием профессора Павла Михайловича Соболева, читавшего у нас фольклор и древнерусскую литературу.

Это был очень интересный, хотя и весьма противоречивый человек, незаурядное дарование которого было загублено вульгарно-социологическими увлечениями того времени. Он, например, всерьез доказывал, что А. В. Кольцов — мещанский поэт, ссылаясь на его письма к Белинскому, где наивный провинциал давал практические советы своему столичному другу.

Я уже и тогда часто и запальчиво спорил с ним, но глубоко уважал его за влюбленность в народную поэзию, которую он знал превосходно, а также за богатейшую эрудицию в области древнерусской литературы.

По характеру болезненно самолюбивый, он прощал мне всю мою юношескую ершистость, когда я начинал читать наизусть отрывки из «Моления Даниила Заточника» или «Слова о погибели Русския земли».

К «Слову о полку Игореве» у него было особое отношение. Будучи еще гимназистом, он сам перевел его и даже напечатал перевод во Владимире. По свидетельству Д. Семеновского, переводом заинтересовался Горький и потом справлялся у него о судьбе автора — владимирского гимназиста. Своего перевода Павел Михайлович нам, студентам, никогда не показывал, видимо боясь наших злых языков, но все другие переводы критиковал жестоко. Мне он не раз говорил: «Не занимался бы ты лирическими пустяками, а взялся за настоящее дело. Перевод «Слова» был бы для тебя настоящей школой».

Я отвечал, что слишком люблю это гениальное творение, чтобы мог позволить себе взяться за его перевод без достаточной подготовки.

— Это ты правильно говоришь, — соглашался Павел Михайлович. — За такое дело нужно браться с душевным трепетом, подготовив себя к нему постом и молитвой.

Первым робким подступом моим к теме «Слова...» было стихотворение «Боян» («Заря, как медный щит, багряна...»), написанное в 1938 году. В следующем году я написал балладу «Меч Мономаха» о походе объединенных сил русских князей на половцев (1103 год).

Название моей первой военной книжки «Синее вино» также связано со «Словом о полку Игореве». Оно подсказано знаменитым сном Святослава, который рассказывал своим боярам: «Черпали мне синее вино, смешанное с печалью».

В стихотворении «Прошедшим фронт, нам день зачтется за год...» я писал о первых днях войны:

И синего вина, вина печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

Были в книге и другие стихи, перекликавшиеся со «Словом...». Вот начало одного из них:

Из лесов разбежались волки,
Ушли из берлоги медведи,
Из норы обжитой и просторной
Лиса увела лисенят.

Лежат мертвецы по дорогам,
И вороны — их соседи,
Как гости на черной свадьбе,
Ходят вперед и назад.

Когда книжка вышла, А. Фадеев прислал мне на каком-то вещании в Союзе писателей записку, что стихи ему понравились, но зачем такое декадентское название. Я ответил, что в таком случае родоначальником декадентов был автор «Слова о полку Игореве». Прочитав мою записку, Фадеев весело рассмеялся.

В послевоенные годы я тоже не раз соприкасался в своих стихах со «Словом...», не оставляя мысли засесть за его перевод. Я очень высоко ценю переводы моих покойных друзей Д. Семеновского и Н. Заболоцкого, но мне хотелось попробовать перевести по-своему.

Летом 1961 года я написал стихотворение «Ярославна» и почувствовал, что больше откладывать осуществление давнишней мечты не могу.

Приступая к переводу, я твердо решил осуществить его в стихах и тем самым сделать доступным и близким для самых широких кругов читателей. Я стремился, бережно сохраняя поэтический дух подлинника, его исторический колорит, дать ему современное освещение и истолкование. Насколько это удалось, судить, конечно, не мне. Закончив работу, к которой готовился много лет, я мог бы сказать только одно: что вложил в нее всю свою любовь к этому удивительному творению русского народного гения.

В последние годы я много ездил по стране. Мне привелось побывать в степях Казахстана и на полях Украины, в городах и селах Латвии и Таджикистана, Белоруссии и Грузии, Бурятии и Мордовии.

Я принял в сердце всю их своеобразную красоту. Эта красота обогатила меня, но не затмила милой сердцу прелести родных мне мест средней России. Я всегда с благодарностью буду вспоминать часы и дни праздничных встреч с друзьями на берегах Байкала или у подножья снежных вершин Кавказа, но обдумывать пережитое приду на берег какой-нибудь безымянной речки в глубине Смоленщины. Чтобы проверить себя, чтобы собраться с мыслями, мне всегда было нужно побродить по заросшим иван-чаем березовым опушкам, посидеть с косарями у догорающего костра, послушать доносящиеся издали девичьи песни.

Я по-прежнему много пишу о природе, но природа для меня — зеркало, в котором отражается душа человека со всеми его мечтами и заботами, радостями и печалью.

Я написал немало книг, но не сказал в них и сотой доли того,